# Рождение убийцы

# Ласло Краснахоркаи

Перевод О. А. Якименко

### «Если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский»

Запись беседы, перевод с венгерского и вступление Оксаны Якименко

Ласло Краснахоркаи родился в 1954 году в городе Дюла, учился на юриста в 1974—1976 годах, затем в 1983 году поступил на факультет народного просвещения Будапештского университета имени Лоранда Этвеша. С 1977-го по 1982 год работал в издательстве «Гондолат». В 1985 году в издательстве «Магветё» вышел первый роман Ласло Краснахоркаи «Сатанинское танго», принесший ему европейскую известность.

Произведения Краснахоркаи стали отправной точкой для нескольких фильмов одного из крупнейших современных венгерских режиссеров — Белы Тарра («Проклятие», «Последний корабль», «Сатанинское танго», «Гармонии Веркмайстера» и «Туринская лошадь»). Речь идет именно об импульсе — это может быть небольшой текст, всего абзац, как в «Туринской лошади», или отдельный эпизод, как в случае с «Гармониями», где режиссер использовал кусок романа «Меланхолия сопротивления».

Писатель много путешествовал по Азии (Монголия, Китай, Япония), проехал на грузовике по побережью Атлантики, с 1992-го по 1998 год, собирая материал для романа «Война и война», побывал в США и странах Западной Европы.

Прозу Краснахоркаи сложно отнести к какому-либо литературному направлению или группе; стиль его письма радикально отличается от привычных канонов венгерской литературы. Если Бела Тарр, по его собственному признанию, постоянно существует в пространстве кино, то Ласло Краснахоркаи живет в пространстве бесконечного текста. В его романах повествование, как правило, представляет собой направляемый автором поток сознания героев. Важные повороты сюжета «встраиваются» в текст через реакции персонажей. Читатель попадает в тексты Краснахоркаи сразу, без подготовки, но довольно быстро начинает в них ориентироваться, благодаря подсказкам автора. При этом писатель всегда топографически подробно описывает окружающее героев пространство и создает совершенно осязаемый мир. Главные в этом мире — «униженные и оскорбленные». По собственному признанию Краснахоркаи, именно среди маргиналов (вольных или невольных) он всегда наблюдал проявления истинной человечности, зачастую недоступные в «приличном обществе».

Главная особенность произведений Краснахоркаи состоит в их поразительной ритмичности: читатель, словно зачарованный, следует за бесконечным потоком слов. Если текст «не пошел» сразу, есть смысл вчитаться в него еще и еще раз, попробовать отдаться на волю автора, чтобы постепенно войти в неприветливый, монохромный, но, в то же время, по-настоящему человеческий мир.

Романы и эссе Краснахоркаи переведены на все основные европейские языки. Писатель очень ревностно относится к переводам своих текстов, заставляет переводчиков читать переводы вслух, чтобы оценить, есть ли в тексте ритм — пусть отличный от оригинального, но столь же захватывающий и способный увлечь читателя. Странным образом, писатель, считающий одним из своих главных учителей Достоевского и страстно любящий русскую литературу, не обрел пока широкой аудитории в России. Будем надеяться, это лишь вопрос времени.

Ласло Краснахоркаи согласился встретиться и поговорить с одним условием: я не буду его спрашивать про фильмы Белы Тарра и «Туринскую лошадь».

(Сам фильм Тарра, снятый по оригинальному сценарию Ласло Краснахоркаи, на момент интервью посмотреть в Венгрии было невозможно. Многие связывают это с критикой Тарра в адрес венгерского руководства, прозвучавшей в Берлине. Позднее фильм, конечно, вышел на венгерские экраны.)

Беседа проходила в полном соответствии с методом, который писатель избрал для создания своих произведений: ответ на первый же вопрос превратился в одно длинное ритмичное высказывание. Вставлять вопросы, которые и вопросами-то сложно назвать, так, реплики слушающего, кажется мне неразумным. Но одна отправная точка все-таки была.

Оксана Якименко. У меня есть хорошая новость, я не буду вас спрашивать про фильм, потому что посмотреть его в Будапеште в кино невозможно. Думала: приеду — сразу во всех кинотеатрах будет «Туринская лошадь», но увы. Даже афиши кое-где есть, а сам фильм не идет. Так что начнем с вопроса: почему вас не переводят на русский язык?

Ласло Краснахоркаи. Это вы у меня спрашиваете? Для меня это болезненная тема. Я всегда думал: если и есть язык, на который стоит меня переводить, так это русский. Если бы не русская литература, я бы никогда не начал писать. Кроме Кафки, главными, кто меня подтолкнул к этому занятию, были Толстой и Достоевский. Не будь их, мне бы и в голову не пришло стать писателем. Свой первый роман «Сатанинское танго» я написал под сильным воздействием обоих. На меня — подростка — особенно глубокое впечатление произвел Достоевский и, во вторую очередь, Толстой. Под их влиянием прошли мои молодые годы. Когда я, мальчик из приличной буржуазной семьи, в бунтарском порыве, как это свойственно подросткам, покинул отчий дом, я хотел, как истинный поклонник Достоевского, опуститься на самое дно жизни — при социализме был такой «низший слой», где все происходило честно. Мне хотелось пожить там, где нет чванства, но есть искренность, человеческое начало. Тогда еще существовало пространство в самом низу, на задворках общества, где люди при абсолютной нищете сохраняли человеческое достоинство, проявляли солидарность и поддержку, чтобы ближний не выпал из жизни окончательно. Там, в самом низу, было то, чего сегодня даже среди нищих не найдешь. Я работал на животноводческой ферме — был подсобным рабочим в коровнике. Даже на ферме есть какой-то заведующий, есть его заместители, есть животноводы, а есть подсобные рабочие — вот среди них я и жил; работал в поле, чем только не занимался. Мне было тогда девятнадцать. Я год отслужил в армии — ушел туда из университета, а потом пошел по Венгрии: жил с этими людьми, получал такие же деньги, что и они, как они пил и ел. В университете, на юридическом факультете, я продержался недолго — несколько пар отсидел и понял, что достаточно. Никогда не хотел быть юристом, как отец. Меня никто не принуждал идти на юридический, но надо было вырваться из дома.

О. Я. И вот так ходили-ходили по Венгрии, а потом — раз, и писатель. Так просто?

Л. К. У меня всегда все было не просто. В какой-то момент я осел в Будапеште, устроился на работу мелким служащим в одно издательство, бумажки перекладывать, чтобы не привлекли за тунеядство и в тюрьму не посадили — у нас, как и у вас, нельзя было нигде не работать — и чтобы в армию опять не забрали. Потом потихоньку стал заниматься в университете. Хотел на филологический, но там надо было готовиться сразу по двум специализациям, поэтому пошел на отделение народного просвещения — тогда это воспринималось с иронией, а сейчас кажется очень даже разумным. У нас преподавали классическую филологию, психологию, формальную логику, социологию, философию (марксистскую, естественно) — приходили замечательные преподаватели с других факультетов, которые хотели подработать. В поисках философии я потом стал ходить на теологический факультет. Потом в жизни случился перелом: в 1983 году сгорел дом, который я купил со своей первой женой. Это был первый в моей жизни собственный дом — мазанка в одну комнату, зато не съемное жилье. Мы его потом восстановили с большим трудом, но в нем сгорело все, немногочисленные книги, которые у меня были, все дотла. Потрясение было сильное. Я до сих пор боюсь огня, вздрагиваю, даже если рядом кто-то чиркает спичкой. Единственный журнал, который брал мои тексты тогда, был «Мозго вилаг»[[1]](#footnote-1). И еще я сблизился с одним писателем, оказавшим на меня сильное влияние, не в литературном смысле, а в человеческом, — с Миклошем Месёи[[2]](#footnote-2). Можно сказать, что он меня тогда спас. Я был в глубокой депрессии, думал, что все кончено, дело шло к самоубийству — и подобные мысли возникали у меня не в первый раз. Месёи сказал мне: «Это путь вниз, депрессия тебя убьет». Я был тогда очень худой и тихий. Быть частью литературной жизни не хотел (и сейчас не стремлюсь расталкивать всех локтями и крутиться шестеренкой в литературной машине). И вот в 1987 году Месёи с огромным трудом выбил для меня, как для молодого писателя, стипендию в Западный Берлин. В конце восьмидесятых Берлин был пристанищем раненых душ. Он притягивал тех, кто не хотел, по тем или иным причинам, участвовать в общественной жизни или не находил в ней себе места. В Берлине жили мало кому тогда известные Джим Джармуш, Том Уэйтс. Общение с этим миром потерянных оказало на меня колоссальное влияние. И потом я впервые, в возрасте двадцати девяти лет, покинул пределы советского мира. Мне повезло: даже издательство «Ровольт», которое мною заинтересовалось, оказалось гуманным, лишенным «прелестей» развитого капитализма, благосклонное к израненным душам. Именно в этом издательстве вышел на немецком языке роман «Сатанинское танго». Это поменяло мою жизнь и сделало известным писателем. Но быть им я не хотел. Сначала думал: напишу одну книгу — и все. Но ее стали переводить на разные языки. Странно: мои произведения с удовольствием читают немцы, чехи, испанцы, но они не понимают, что я хочу сказать, а вот русские могли бы понять, но не читают. Роман «Сатанинское танго» был воспринят как антикоммунистическая книга, но я никогда политикой не занимался и вовсе не это имел в виду. Я из первого поколения тех, кто уже не боялся. Моего отца никто не расстреливал, самого меня не били, не гноили в тюрьмах. Так, изредка вызывали «побеседовать», но ничего особенного там не происходило. Только один раз я по-настоящему сцепился с человеком в форме. Заявил, мол, ничего вашему грязному режиму писать не буду. Единственный раз дошло до крика, хотя реакция с его стороны мне понятна. В 88-м я вернулся в другую страну. Надо было решать, хочу ли я заниматься тем, чем занимались все остальные. Важные для меня люди — в первую очередь писатели, — постепенно уходили из жизни: Иван Манди, Петер Хайноци, Янош Пилинский. Хайноци был младше остальных, но невыносимое внутреннее напряжение он снимал беспробудным пьянством и сгорел — как ваш Высоцкий. Я уже говорил, что никогда не был частью литературной жизни. А к тем, кем я по-настоящему восхищался — Пилинскому, Вёрешу, — подойти не смел. Я не стремился ни к чьему обществу. Писал я не дома: сидел где-нибудь в кабаке, пил — тогда я много пил — и складывал в уме фразы от начала до конца, а потом приходил и записывал. Раньше я мог держать в голове целые главы — по 15—20 страниц. У меня очень большой объем памяти. Похоже, это свойственно многим писателям и особенно поэтам. Поэтому в моих первых книгах каждая глава — одно длинное предложение со своей выверенной ритмической структурой. В нем нет точек — ведь, если прислушаться к живой речи, мы говорим без точек. Я мыслю некими единицами, схожими по форме с музыкальными фразами. Правда, в последних книгах я стал чаще прибегать к коротким фразам. Вообще, у меня отсутствует нарратив как таковой. Как правило, герои говорят об одном и том же, но с разных точек зрения.

О. Я. Как у Лоренса Даррела?

Л. К. Не совсем, но похоже. Скорее ближе к поэтической форме. Это энергия, взятая из живой речи и получившая ритмическую форму. Важно, чтобы каждое слово было на месте. Мой английский переводчик рассказывал, что начинает работу над моими текстами с того, что много раз подряд читает вслух начало текста, чтобы войти в ритм, — до тех пор, пока у него в голове не возникает аналогичная ритмическая структура на английском языке. Подобным образом работают и мои переводчики на другие языки. Причем каждый раз получается совершенно иной текст, ведь абсолютная трансплантация в другой язык невозможна. Но вернемся к возвращению. В Венгрии 1988 года все занимались политикой. Люди одурели от свободы. Все верили в Горбачева, верили, что он все изменит, и он в итоге все изменил. Этот привкус свободы я до сих пор ощущаю на языке. Но я не понимал, как могли писатели, хорошие писатели, проницательные люди, вдруг подумать, будто после эпохи Яноша Кадара может сразу наступить демократия. Ведь новых-то людей не появилось. Как те, кто шли на компромисс с режимом — а на компромисс, так или иначе, шли все, или почти все, — смогут вдруг переродиться? Как из трусливых созданий вдруг вылупятся ангелоподобные, исполненные демократии существа? Жаль, что я оказался прав. Все это обернулось иллюзией. Особенно это неприятно сознавать сейчас. Не могу избавиться от этого ощущения. Теперь на меня стали нападать местные нацисты — особенно после того как я в Польше, в ответ на вопрос, что значит быть венгром, сказал, что это просто географический факт: человек рождается на какой-то конкретной территории, где говорят на каком-то конкретном языке, и гордиться тут нечем. Так меня на родине обещали камнями закидать. В этом смысле мне близка позиция Кафки, который говорил: «Я здесь родился, и у этого есть серьезные последствия». Зачем-то было нужно, чтобы я здесь родился, но кичиться этим — все равно что гордиться самим фактом своего существования. В Венгрии это все воспринимается болезненно, но никого не интересует, что есть люди — их немного, — которые почему-то любят Венгрию просто так, бескорыстно, и даже если они ее критикуют, то делают это из привязанности. Я невольно напрягаюсь, когда соотечественники говорят, что любят родину. Венгр может любить, скажем, Новую Зеландию за красоту ее природы, но сами жители Новой Зеландии будут сокрушаться, что собственных достижений у них нет, а коренное население, маори, было практически уничтожено. Но гораздо больше меня занимают совсем другие вопросы. Скажем, Кантор[[3]](#footnote-3) — немецкий математик, выходец из России. Без его модели невозможно себе представить современную математику. Он был человек сверхчувствительный, параноик (как это часто бывает у математиков), склонный к метафизике. В нем странным образом сочеталась ортодоксальность и стремление расширить границы познания. Он хотел рациональным путем доказать, что Бог существует. В философском смысле Кантор открыл совершенно новое пространство. И Кафку, жившего в XX веке, и Кантора, представителя XIX века, — обоих волновали проблемы метафизические. В Венгрии сейчас многие писатели активно участвуют в политической жизни, я уважаю их выбор, но сам политикой не занимаюсь. Если снять с будапештских улиц все рекламные плакаты — перед нами предстанет город, почти не изменившийся за последние десятилетия. Вполне возможно, что у вас в России это не так, но в Венгрии стоит отъехать вглубь, в альфёльдские деревни, и сразу станет ясно, что все новое — это лишь фасад. Люди сами по себе изменились не сильно. Может, погрубели только, стали менее восприимчивыми. Им теперь нужны все более и более сильные импульсы, чтобы ощутить движение жизни. Люди теряют дни, не ощущают мгновений, думают только о следующем дне, не видя сегодняшнего, а прошлое — оно ведь все равно остается непознанным. Знаем ли мы, к примеру, как рассуждали о Великой французской революции те, кто жил в 1904 году, или как воспринимали итоги Трианона в 1944-м? Мы ничего не знаем о прошлом, оно меняется вместе с нами. Настоящего нет, будущего еще нет, а прошлое все время меняется вместе с нами. Люди судорожно хватают ртом воздух, задыхаясь от его нехватки. При диктатуре время длилось иначе: казалось, будто все на века. Это была дурная бесконечность, но мы чувствовали ее, могли понять.

Кстати, то, что меня не переводят на русский, это, может, и хорошо. Живя в Берлине, я познакомился с русским писателем Сорокиным, и он у меня допытывался, почему нет русских переводов моих книг. А я считаю, пусть у русских людей будет иллюзия, будто есть такой хороший венгерский писатель, но надежда прочесть его в переводе так и останется надеждой[[4]](#footnote-4).

Ко мне по-разному относятся в разных странах. Поляки, скажем, воспринимают мои тексты как литературу из прошлого, когда еще была большая литература мессианско-метафизического характера. На мессианство я особо не претендую, но метафизика меня волнует больше, нежели все остальное. В своих книгах мне хочется представить различные мировоззрения, и не все они метафизичны. Скажем, Эстерне из «Меланхолии сопротивления» совсем далека от метафизики. Посмотрите на людей в этом баре: они непохожи друг на друга, и в жизни для них разные вещи являются главными. Как писатель я должен учесть всех. Кто-то о «ягуаре» мечтает, и встреча с Богом нужна ему лишь для воплощения этой мечты. А кому-то все равно, есть у него «форд» последней модели или нет. В романе все эти люди получают свой голос. И у меня глаз так устроен, что я все вижу и чувствую, иначе бы я не был писателем. Когда я рос, прикоснуться к этим по-настоящему важным вещам можно было только через русскую литературу. Остальные источники были запрещены. Я уже говорил про интерес к философии, которая в годы моего студенчества была доступна только в марксистском варианте. Хотя и это неплохо. Сейчас настоящих левых, к сожалению, больше нет. Нет тех, кто бы понимал Маркса. Что бы о нем ни говорили, мало кто может сравниться с ним в анализе исторических процессов. Маркс обладал уникальной прозорливостью, сейчас, по прошествии двадцати лет, уже можно об этом здраво судить, и камнями не забросают. Возвращаясь к Достоевскому, я ведь читал его в переводах, а это значит, знал совсем другого Достоевского. Как в истории с новым немецким переводом Достоевского Светланы Гайер[[5]](#footnote-5) — я ее знал. Она говорила: «Вы не представляете, каков Достоевский на самом деле». А немцы, как мы, венгры, привыкли к сглаженным, высокопарным переводам Достоевского. Мы и подумать не могли, что у него могут быть какие-то стилистические шероховатости. Когда же Гайер перевела на немецкий всю эту его расхлябанность, на нее стали нападать, мол, не может быть Достоевский таким небрежным. Так же и с Прустом. В юности я прочел первые два тома в переводе Альберта Дёрдяи, других не было, а потом, когда взялся за остальные в оригинале, понял, что читал совсем другого Пруста. По мне так хотелось его прочесть, что я постепенно, вчитываясь в текст, выучил французский. Та же история с Фолкнером. В венгерском варианте он получился слишком пафосным, хотя английский язык вообще пафоса не допускает. Получается, что Фолкнера не любят в Венгрии из-за преувеличенной патетики его переводов. Мои тексты тоже меняются от языка к языку. На испанском языке (спасибо Карпентьеру!) получаются такие замысловатые барочные предложения, что не очень похоже на меня, но, когда читают испанский перевод моей книги вслух, получается хорошо. Вообще, самое важное в искусстве — ничем не обусловленный момент узнавания, которому ничто не предшествует, но сердце сжимается. Без него литература невозможна. И этот момент всегда сопряжен со страданием. Как у ученых, когда они бьются над решением какой-то задачи — и вдруг приходит озарение. То же и в музыке. Есть такое у Шостаковича, например: слушаешь — и вдруг замирает сердце. Момент просветления, недостижимый путем логических рассуждений. Момент, когда человек, запертый в своем существовании, выходит за пределы времени. Нужна молния, вспышка прозрения. В конечном счете, время — не главное. Это всего лишь средство — нужна же нам хоть какая-то система координат, вот и возникли настоящее, прошедшее и будущее, а на самом деле времени нет.

### Рождение убийцы

### Рассказ

Отправной точкой стала глубочайшая ненависть, в нее же он и вернулся — с самого низа и издалека, с такого низа и из такого далека, что даже в начале начал никакого понятия не имел, куда доберется на этом пути, ему и в голову не приходило, что он вообще движется куда-то по какому-то пути; он возненавидел страну и город, где жил до сих пор, и возненавидел людей, с которыми ежеутренне спускался в метро и ежевечерне отправлялся домой той же подземкой, он все убеждал себя, что здесь у него уже нет никого и ничто не связывает его с этим местом, и пропади оно все пропадом, но долго не мог решиться — продолжал по утрам уезжать на метро и вечером возвращаться домой, пока однажды утром он просто не вошел в вагон метро вместе с остальными пассажирами и застыл ненадолго на перроне, в голове было пусто, он просто стоял, его толкали со всех сторон, купил газету с объявлениями, взял кружку пива в стоячем буфете и принялся просматривать объявления, выбрал одно предложение о работе, а с ним и страну — Испанию, потому что ничего о ней не знал, Испания далеко, пусть будет Испания, и с этого момента все завертелось, и вот он уже летит туда каким-то дешевым рейсом — впервые в жизни сел в самолет, но, кроме страха и ненависти, ничего не почувствовал — боялся летать и ненавидел наглых стюардесс, наглых пассажиров и даже наглые облака, которые клубились там внизу, и ненавидел солнце и слепящий свет, а потом словно бы рухнул вниз, точнее, свалился в этот город, и только ступил на землю, тут же оказался жертвой обмана, потому как предложение работы, естественно, оказалось липовым, сэкономленные деньги почти сразу закончились — все съели перелет, еда и жилье на первые несколько дней, нужно было начинать с нуля здесь, назад — ни за что, ни в коем случае, нужно искать работу на чужбине — но, разумеется, все напрасно, отовсюду его выкидывали, вместе с остальными «румынами» и прочими босяками, и он бродил по этому прекрасному городу, и никакой работы никто ему не давал, так прошла неделя, потом еще одна, и еще, и вновь настала суббота, и он опять, как всегда, отправился в одиночку бродить по городу, но на этот раз не в надежде найти работу — какая уж тут работа в выходные, просто так, из ненависти ко всему слонялся по Барселоне, сворачивал с одной улицы на другую в гуще субботнего народа, ошалевшего от богатства и наслаждений, в кармане оставалось пятьдесят четыре евро, от голода сводило живот, но зайти поесть куда-нибудь — в таком виде — он не решался, посмотрел на себя: понятно, почему его здесь никуда не пускают; на перекрестке с бульваром Пасео де Грасья людей вокруг стало так много и они были так элегантно одеты, что он был вынужден остановиться, отойти к стене какого-то дома и наблюдать за ними оттуда, откуда людской водоворот не мог увлечь его за собой; стена давила на плечи, и он обернулся, чтобы рассмотреть дом за спиной — здание совершенно поразило его: в этом городе он уже успел повидать немало подобных вычурных построек, но такого — еще ни разу, хотя уже бывал в этих местах, должен был разглядеть, но зря ходил, не замечал до сих пор, что само по себе уже довольно странно, ведь этот дом на углу Пасео де Грасья и Каррер-де-Прованс такой громоздкий и необъятный, так нависает над перекрестком, что его трудно не заметить; он продвинулся вдоль стены, на глаза попался туристический указатель с надписью «Каса Мила»[[6]](#footnote-6) и внизу в скобках: «Каменоломня», направлен он как раз в сторону дома, значит, здание называется «Каса Мила», должно быть, известное, ну конечно, подумалось ему, здесь, в Барселоне, в этом районе на многих домах можно написать даже не то, что они известные, а что их построил безумец, а уж этот дом — в особенности, он рассматривал фасад, насколько это возможно было делать в толпе, и дом этот был фантастически уродлив, гораздо уродливее остальных, поэтому он ему и не понравился, как и те другие дома, ему вообще не нравилось все беспорядочное, а этот дом вообще походил на гигантский желудок, огромный живот, вывалившийся на тротуар, не выдержав собственного веса, и расползшийся по асфальту; дом вызывал отвращение, чем больше он смотрел на необъятный тяжеловесный фасад, тем сильнее нервничал и мрачнел, находя его отвратительным во всех смыслах этого слова, но не мог понять, почему кому бы то ни было могли позволить намеренно построить такое здание в этом ненавистно прекрасном и богатом городе; времени было примерно полшестого вечера, совсем еще светло, просто для него половина шестого означала вечер, перестроиться он не сумел, жадная до развлечений или покупок людская масса продолжала волнами накатывать на перекресток, втягивала его в свой водоворот, не давая вырваться на свободу; когда ему почудилось, будто толпа начинает расти, расползаться не только в районе перекрестка, но и в обе стороны Пасео де Грасья, он решил покинуть этот район, переместиться в Каррер-де-Прованс и там найти какой-нибудь подходящий квартал подешевле, существенно подешевле, чтобы, с одной стороны, быть поближе к новому бесплатному жилищу, а с другой стороны, чтобы там можно было наконец что-нибудь съесть, он даже прошел немного вдоль стены, если быть точным, сделал несколько шагов до открытой двери, до входа в ту самую «Каменоломню», или как там она называется, заглянул внутрь, но не увидел там ни единой живой души, только нечто вроде парадной лестницы с безумными завитушками, которая закручивалась вверх между пятью безобразными до ужаса колоннами и крашенной под мрамор стеной в полутьме лестничной площадки: наверняка там, внутри, какой-то праздник — свадьба или что-нибудь в этом роде, подумал он, но дальше входа не пошел, стоял и ждал, когда появится охранник или лакей и прогонит его, уверен был, что так оно и должно случиться, но никто не вышел; руководствуясь минутным и глупым побуждением, он подался на шаг вперед, застыл на мгновение, разглядывая лестничную площадку, разукрашенную явным безумцем, постоял, но никто так и не появился, кругом была такая тишина, будто в двух метрах отсюда, за дверью, не галдел надоедливый субботний люд — тишина, странно, что дверь не заперта, он начал подниматься по лестнице, осознавая всю наглость поступка: кому-кому, а уж ему-то здесь точно делать нечего, из чистого любопытства, произнес внутренний голос, просто из любопытства, так он дошел до второго этажа, где его ждала еще одна распахнутая дверь, но самое странное — здесь тоже никого не было, а ведь он был почти уверен, что отсюда дальше уже не пройти, но нет, за открытой дверью начинался длинный коридор, и в этом коридоре сбоку притулился одинокий стол и стул; он прошел по коридору и слева от стола заметил еще одну открытую дверь поуже, за ней — восемь ступеней наверх, а за ними, если смотреть снизу, открывалось еще одно пространство — зал, он приподнялся на цыпочки, чтобы получше рассмотреть, что там дальше, но в полутьме за залом, находившимся наверху, были видны лишь другие залы, в которых — насколько он мог разглядеть, стоя перед лестницей, — не было ни одной живой души; на стенах — картины на религиозные темы: старомодные, красивые и совсем здесь не к месту, и блестящие, точно позолоченные, вот это да! — подумал он, теперь и правда пора уходить; он повернулся, направился было обратно по коридору, чтобы спуститься по лестнице и выбежать на улицу, где можно будет наконец вдохнуть свободно и глубоко, а то здесь, внутри, он почти перестал дышать, но так и не пошел к выходу, вместо этого сделал несколько шагов в сторону стола и открытой двери, не сводя глаз с восьми ступеней, ведущих наверх, в первый зал, снова заглянул туда: все эти позолоченные картины снова потянули его к себе, не то чтобы захотелось их украсть — подобная мысль даже в голову не приходила, точнее, пришла, но он ее сразу отогнал, просто хотелось посмотреть, как они блестят, правда, краем глаза полюбоваться, пока не выгонят, все равно заняться нечем, и тут вдруг сзади послышались шаги — такие тихие, словно бы их и не было, снаружи, со стороны парадной лестницы приближалась пара: оба средних лет, хорошо одеты, шли под руку, за его спиной разделились, обошли с двух сторон, потом снова сблизились, он едва заметно вздрогнул всем телом, как вздрагивает человек в таких ситуациях, женщина снова взяла мужчину под руку, и оба начали подниматься по тем самым восьми ступеням, вошли в зал и растворились в нем, разрешив таким образом для него вопрос: стоит ли входить туда; он тут же отправился вслед за ними, будь что будет, максимум — вышвырнут, разницы никакой, хоть увидит еще чуть-чуть из того, что снизу так заворожило его своим блеском; на слегка дрожащих ногах он тоже поднялся по восьмиступенчатой лестнице и перешагнул порог, и осмелился войти вслед за той парой — в зале было темно, собственно говоря, свет горел только над некоторыми картинами; он не сразу остановился, прошел подальше, будто бы уже давно находится здесь, и даже оказался на выставке намного раньше, чем те, кто сейчас шли за ним следом, потому и остановился не у первой, не у второй, а непонятно у какой по счету картины, и тут же ощутил на себе взгляд Иисуса; Христос сидел на подобии трона в центре триптиха, в одной руке — раскрытая книга, Священное Писание, другая рука простиралась за пределы картины в предупреждающем жесте, и, действительно, вокруг все сияло: листовое золото, определил он, прежде доводилось иметь с ним дело в реставрационной мастерской, но теперь только на стройке, наклонился поближе, но тут же торопливо отступил назад, тонкий пласт золота плотно облипает основу, наверняка и здесь по такой же технологии делали, принялся рассматривать Христа, стараясь изо всех сил больше не смотреть ему в глаза: этот Христос хоть и знал, что нарисованный, но смотрел на него с такой строгостью, что взгляд его выдержать было почти невозможно, — но был при этом прекрасен, иного слова и не подыщешь: прекрасен, и еще казалось, будто художник писал его в те времена, когда еще не умели как следует рисовать, по крайней мере, ему так показалось; было что-то примитивное в посадке головы и во всей картине, на заднем плане — ни привычного для церковных картин пейзажа, ни домов, лишь ангелы да святые со склоненными головами и, конечно, повсюду свет от позолоты; от этого возникало удивительное ощущение, что Христос совсем рядом, настолько близко, что ему даже пришлось отступить подальше, но и этот эффект он поставил в вину художнику; возникло подозрение, будто здесь и в последующих залах нарочно развесили примитивные картины — повсюду, насколько хватало обзора, а он сразу заметил, что в дальних залах кто-то есть, и тут же решил повернуть обратно, но прошла еще одна бесконечная минута, а выпроваживать его никто не явился, более того, один из разбредшихся по остальным помещениям посетителей вернулся в зал, где он находился, и даже не взглянул в его сторону: так ведь это просто посетитель, такой же, как я, подумал он и, почувствовав себя уверенней, продолжил разглядывать Христа, но смотрел не на картину, а следил за действиями вошедшего, но тот просто переходил от картины к картине — и правда, не охранник, успокоился он наконец и снова взглянул на Христа, сверху на бледном фоне он разглядел какие-то каракули, но разобрать их было невозможно, он попытался прочесть табличку под картиной, но надпись была на каталанском, и он ничего не понял, продвинулся дальше, к следующей иконе, фон там тоже был сплошное золото, и написана она была явно тоже очень давно: деревянная доска основательно изъедена жучком, да и краска изрядно осыпалась, но сохранившееся изображение вновь казалось прекрасным: в рамке внутри картины сидела Пресвятая Дева с младенцем на руках, младенец особенно ему понравился — прижался всем своим крошечным личиком к Деве, а она даже не на ребенка смотрит, а куда-то вдаль, за пределы иконы, на него, на зрителя, и взгляд у нее такой печальный, будто она уже знает, что ждет ее сына; он отвел глаза и снова принялся разглядывать золото, до тех пор смотрел на золотой фон, пока в глазах не зарябило; и третья, и четвертая, и пятая картины — все были похожи, каждая написана на дереве, везде золотой фон, на каждой по-детски нарисована Пресвятая Дева или Иисус, или какой-нибудь святой — на каждой по святому, а то и по несколько, но главное, что он понял, все эти Марии, Иисусы и святые, изображенные на золотом фоне яркими красками — словно их дети рисовали, — ему, по крайней мере, так показалось, потом, конечно, он отогнал эту мысль, глупость какая, да чего от него еще можно ждать, только глупость, что он понимает во всем этом, ну, поработал несколько месяцев у одного реставратора, нет, конечно, нет, то, что он увидел, вовсе не дети рисовали, просто художники были действительно старыми, из тех времен, когда люди еще не знали правил живописи или когда правила эти были другими; он переходил от одной иконы к другой, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, и, хотя внутреннее напряжение и готовность выскочить на улицу по первому знаку его так и не оставляли, он уже с куда большим вниманием останавливался возле отдельных картин, ведь, не считая того Христа в конце зала, пристальный взгляд которого пронзил его в самом начале, остальные святые, младенцы и цари смотрели на него смиренно и кротко, так что он немного успокоился и остался, выгонять его по-прежнему не собирались, билет никто не спросил — входной, на выставку, он и не ушел, и даже не вернулся в первый зал, по которому вслепую пробежал, когда только вошел, а переместился во второй, где было так же темно, а картины были подсвечены небольшими лампочками: и тут святые с Девой или с Христом, и тут сплошное золото и сияние, струящиеся прямо из икон, будто бы и лампочки им сверху не нужны — свет исходил изнутри; он перемещался из одного зала в другой, теперь уже вполне уверенно, разглядывал святых и царей, но вместо благодарности небесам за возможность побыть здесь в безмятежности, на него внезапно снизошла какая-то печаль, придя на смену привычной ненависти, и он почувствовал себя одиноким — с момента приезда сюда ничего подобного не ощущал, только смотрел на сияние, на золото; что-то резко заболело, и он не понимал: то ли действительно стало вдруг больно от нахлынувшего одиночества, то ли слишком сильным оказался контраст между бесцельным блужданием по залам и счастливой толпой снаружи, то ли столь острая боль была вызвана ощущением, как невыразимо далеко находятся от него все эти святые и цари, Марии и Иисусы — и это сияние.

Влияние Византии и Константинополя было огромно, хотя как только это произносится вслух, сразу требуется поправка, ведь без Византии и Константинополя славяне, на всей этой невообразимо обширной территории, вообще не приняли бы христианство — вполне естественно, что и в иконописи все указывает на византийские истоки, на византийское греческое православие, оттуда пришли первые чудотворные иконы, оттуда прибыли первые иконописцы, а русские отправились учиться к ним в Византию, в несравненно богатый и готовящийся к вечности величественный Константинополь, оттуда строгие черты на неподвижных лицах колоссального Пантократора, выписанного на сводах храмов, оттуда разошлись все эти неисчислимые карающие взгляды и неисчислимые строгие и печальные Девы, дикие ритмы, стойкие, резкие цвета и невероятное напряжение, и бесконечность, и незыблемость, и неостановимый полет, и вдохновение, и вечность; попав сначала в Киев, а потом в Новгород, Псков, Владимир и Суздаль, в Радонеж, Переславль, Ростов и Ярославль, и Кострому, и, наконец, в Москву, в Москву, в Москву, чтобы русские превратили все это в нечто новое, наполненное нежной любовью, надеждой, покоем, состраданием и уважением, хотя говорить о полноценном воплощении можно лишь к XV веку: Киевской Руси предстояло пройти долгий путь до Великого княжества Московского, и представлять его в историческом пространстве следует не в виде непрерывной линии, но как некую кривую, которая ведет в определенном направлении, но периодически застревает в какой-то точке и, подобно островку с раскинутыми в сторону звездными лучами, оставляет след на карте первых пяти столетий древнерусского христианского искусства, чтобы затем реализоваться в московских иконописцах и создать единую традицию, которая связывает Владимирскую Богоматерь с волоколамской иконой Божьей Матери и вызывает к жизни древнерусскую иконопись — для ее рождения было нужно не время, но погружение, и произошло это отнюдь не в результате длительного процесса, так что ключевым элементом было здесь не время, но взгляд, неожиданное осознание и молниеносное прозрение, видение того, что невозможно понять, осознать и увидеть — так ощущали это все святые: от двух сыновей Великого князя киевского Бориса и Глеба до игуменьи Печерской лавры Феодосии и бессмертного основателя Свято-Троицкого монастыря, святого преподобного Сергия Радонежского, все, действительно все, чьи имена известны и неизвестны, все, кто был частью этого погружения и в чьей завораживающей атмосфере иконописец, оставаясь почти всегда в совершенной тени, помогал человеку, способному на чудо Творения, приблизиться к непознаваемому и невидимому своим мучительным путем, ведь на иконе автор детально объяснял, что миру пришел конец, этому миру конец, и, поцеловав икону и всмотревшись в нее, человек убеждается: есть нечто чуднее чудного, есть милость и прощение, есть надежда и сила в вере; и поднялись выстроенные на византийский манер крестокупольные храмы — Десятинная церковь и Святая София, киевская, и Успенская церковь, и Спас на Нередице, и церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, и Печерская лавра и Троицкая надвратная церковь, и Спас на Берестове, и Выдубицкий монастырь, но то была лишь первая волна великолепных храмов, монастырей и церквей, воздвигнутых в ликовании новой веры, ведь за ней последовала московская эпоха с Успенским и Андрониковым монастырями и Троице-Сергиевой лаврой, а там один за другим стали строиться храмы, монастыри и церкви от Вологды до Ферапонтово, и повсюду сотнями и тысячами писались иконы, возносились иконостасы, а стены, колонны и своды покрывались фресками, и люди погружались в веру, и входили в притвор, а оттуда — во храм, и, сложив три пальца, осеняли себя широким крестным знамением, касаясь середины лба, потом пупка, потом уводили руку вправо, влево, а затем уже кланялись, после короткой молитвы приближались к аналою, к киоту, дважды крестились перед ним и целовали край иконы, снова крестились и становились на колени, потом покупали связку освященных свечей и ставили их в подсвечники, расположенные в разных частях храма, произносили и там обязательную молитву, и, вновь осеняя себя крестом, очищали свое сердце, и занимали, наконец, место в церкви: женщины — слева, мужчины — справа или так: женщины — в нартексе, мужчины — в наосе, и слушали, как священник произносит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша», — и слушали пение хора, богатую полифонию, выстроенную по тонам на диатонических, хроматических и энгармонических гаммах, отдаваясь на волю восьмиступенных икосов или их сорока вариантов, и повторяли «Аминь» в Литургии Иоанна Златоуста, когда наступал нужный момент, и осеняли себя крестом, и часами били поклоны, пока не кончалась бесконечная литургия и священник, поцеловав крест и раздав просфоры, не призывал прихожан покинуть храм, и верили в Бога, потому что видели иконы, ведь те показывали им и доказывали во-чувствовавшим душам, что стоящая на аналое или висящая на стене икона и есть то место, через которое можно взглянуть на иную, вышнюю, реальность, так что жизнь их проходила в бесконечной молитве, а если и не совсем так, ведь, прозябая под грузом более или менее тяжких грехов, трудно было поддерживать сосредоточенность, необходимую для постоянной молитвы, то и тогда оставалось восхищение, искреннее, пылкое восхищение человека, от которого эта постоянная молитва не требовала каких-то сверхчеловеческих усилий, но была единственной мыслимой формой наполнения земной жизни, одна-единственная непрерывная молитва — именно так обстояли дела у монахов, принявших постриг ради святого пути, и у всех истово верующих православных, кто, согласно одной из двух византийских традиций, решил поселиться либо в монастыре строгого общежитского устава — киновии, либо в особножительном идиоритме с более свободными порядками, где им предстояло пережить то, что Господь отмерил им на этой земле, и в обоих случаях они продолжали свое существование в постоянной молитве, а то и вовсе уходили в нее, как делали самые верные последователи этой веры — исихасты, да они, наверное, и не могли поступить иначе, ведь любой другой путь был для них немыслим, потому и жили они во внутренней, немой молитве, погрузившись в абсолютное молчание, в тишину, куда не доносится никакой мирской шум, даже негромкий гул молитв других монахов, не говоря уже о том гуле, который, в соответствии с так называемым духом эпохи, доносился со всей необъятной русской равнины, неуклонно стремившейся к единству — за это время русские успели полюбить Христа и Пресвятую Деву и с трепетом и страхом несли дань Творцу, взиравшему на них в образе Пантократора с высоты соборных куполов; их зачаровывала ослепительная красота храмов, бесконечное изобилие, изливавшееся на них по воскресным и праздничным дням во время обязательной молитвы, и под бременем собственных грехов, но с глубочайшей верой в обещанное спасение, они участвовали в долгих службах, которые и сами по себе уже были молитвами, как предписывали и требовали все семь Вселенских соборов, отрегулировавших все до мельчайших деталей, и все происходившее служило тому, чтобы на просторах готовящейся к будущему величию России вовеки стоял Храм и вовеки не разрушилось до сияющего блеска отполированное, хитроумное и утонченное здание веры, чтобы каждая вещь, каждая песня, каждая мольба и каждое движение вызывали изумление, и чтобы здесь, внутри, в храме, верующий видел не свою горестную жизнь, но преддверие Рая, близость Господа, Христа и Богоматери, близость Невидимого, Чуда из Чудес, и чтобы исполнился он сжимающим сердце звучанием слова и пения, и чтобы охватила его душу обретенная через горести радость, и чтобы поверил он, по-настоящему поверил, будто жизнь его убогая — ничто, ибо все ожидает его там, наверху, там, далеко, в неуловимом видении, открывающемся за пределами святого образа, если присмотреться, прежде чем поцелуешь его с краю, оно там... там... где-то там.

Он решил уйти, не хватает еще окончательно отдаться нежности, неожиданно накатившей печали, пасть духом, да еще в совершенно не для этого предназначенном месте лишь потому, что картины со стен с таким сиянием глядят на него — и речи быть не может, бегом отсюда, немедленно, все происходящее просто курам на смех, расслабляться нельзя, у него же ничего нет: ни нормального жилья, ни денег, ни работы, надо не просто быть сильным, эту силу по-настоящему должен почувствовать и тот, с кем придется столкнуться, когда в понедельник он вновь отправится на поиски работы, безумие какое вся эта круговерть, прочь, прочь отсюда, ко всем чертям; он уже шел как раз к выходу и двигался в обратную сторону, ведь он не мог быть уверен, да и не был уверен, есть ли выход здесь, в конце лабиринта залов, где он сейчас находился, тут уже все казалось знакомым, раздумывать нечего, куда? — сюда, приказал он сам себе и зашагал в обратную сторону, туда, откуда пришел, теперь уже не глядя на картины, злясь сам на себя, зачем вообще зашел — глупость какая, он миновал один зал, другой, третий, вот он уже добрался до первой комнаты, восемь ступенек вниз, осталось только выйти через широко распахнутую дверь на галерею второго этажа, чтобы затем скатиться в холл по сумасшедшей лестнице и выскочить вон из этого безумного здания обратно в толпу, на Каррер-де-Прованс, а оттуда в подходящий ему квартал — перекусить в дешевой забегаловке, чтобы дотянуть до завтра, и вдруг в первом зале, который он быстро пробежал, едва войдя в него, да, теперь он отчетливо вспомнил: здесь, в первом зале он тогда ничего не увидел, даже если бы его сейчас заставили зажмуриться, он бы ни за что на свете не вспомнил, что там висело, короче, он пробежал через зал вслепую, а теперь вот на обратном пути бросил взгляд на одну картину, ту, что по размеру намного больше остальных, всего один взгляд, и отвернулся было, занес ногу, чтобы перешагнуть порог, но завис, застыл в движении, будучи не в состоянии его завершить, и из-за этого чуть не споткнулся, неуклюже, не добравшись до тех самых восьми ступенек, но не споткнулся-таки, потому как в последнюю секунду успел заступить обратно и даже удержал равновесие, только оперся на косяк и еще раз обернулся, и ведь не было на то особой причины, чтобы так зацепило, ведь в этом первом зале видна была всего одна картина — надо признать, разместили ее иначе, нежели остальные, правда и то, что, кроме нее, здесь больше ничего не было выставлено — выставили всего одну подставку, похожую на мольберт, а к ней прислонили картину, ту, что больше всех остальных; полотно размером в человеческий рост поставили чуть выше уровня пола, чтобы оно словно бы встречало посетителя выставки, и если он с самого начала едва мог бы объяснить, зачем попал сюда и какого дьявола здесь ищет, то теперь еще меньше понимал, почему остановился перед этой картиной так, что чуть нос не разбил, резко вдруг затормозив, в любом случае произошло следующее: он затормозил, споткнулся, ухватился за косяк, восстановил равновесие и обернулся назад к большой картине, на которой увидел трех больших, изящных, гибких мужчин, сидевших вокруг подобия стола; сначала он увидел только это, но быстро заметил, что у всех троих за спиной крылья, заметить крылья было не так уж легко — состояние картины оставляло желать лучшего, сразу бросалось в глаза, что во многих местах отсутствует живописный слой, но трое сидящих — судя по крыльям, явно ангелы — сохранились почти целиком, только через центр иконы тянулась вертикальная полоса, словно деревянная доска, на которой была написана икона, треснула посередине, и как будто на эту трещину что-то пролилось, отчего широкая полоса слегка потеряла цвет, но тут он увидел, что чуть правее есть еще одна полоска, поуже, и сообразил вдруг, что обе трещины пролегли там, где когда-то доски подгоняли друг к другу; проблема в стыке, подумал он обеспокоенно, дерево деформировалось и слегка искривилось, другими словами, покоробилось, как говорят специалисты, отметил он про себя и тут же подумал, а на кой ляд меня все это занимает и откуда это беспокойство, почему он вообще остановился и с какого перепугу застрял тут, почему ему, именно ему так важно, что изображено на иконе и откуда эти трещины, и вдруг осознал, что эти три ангела... будто остановили его, вот уж безумие полное, и все же что-то в этом есть, и тут вдруг заметил, что смотрит лишь на золотой фон образа, сияющий сильнее, чем на других иконах, просто глаз не спускает с золота, уже и в глазах зарябило от сияния, но он не мог перевести взгляд, только бы на ангелов не смотреть, но теперь он отчетливо понял, что не смеет смотреть на ангелов, но это уж вообще ни в какие ворота?! и тогда он взглянул на ангелов и чуть не потерял сознание; одного взгляда было достаточно, чтобы понять: эти ангелы настоящие.

Разумнее всего было бы сразу кинуться к лестнице и бежать куда глаза глядят, но, с другой стороны, если находишься внутри, ситуация представляется совсем иначе и даже вовсе наоборот, самым разумным представлялось уйти не через ту дверь, которую охраняли эти трое, а вернуться обратно, через все залы, и там найти настоящий выход, до конца схему побега он, конечно, не продумал — слишком испугался, решения принимал не мозг, а рефлексы, рефлексы рационального поведения и здравого смысла, вот он и побежал, пронесся через первый зал, второй, в третьем замедлил шаг: не преследуют же они его, в четвертом уже попытался сделать вид, будто просто идет, и так, сдерживая бег, устремился дальше, чтобы, если посмотрят те, что стоят в следующих залах, ничего особенного не заметили, пусть им покажется, что человек немножко странно подволакивает ногу — просто торопится пройти анфиладу насквозь, явно там, где-то ближе к выходу, у него какое-то дело — мог бы подумать посетитель, случайно взглянувший на него, да только никто на него не смотрел, никого вообще не интересовало, куда и как он торопится, все рассматривали иконы, кое-кто, как, например, супружеская пара, замеченная им с самого начала, иногда перешептывалась перед каким-нибудь из образов, но на самом деле никого он здесь не интересовал до самого последнего зала, где обнаружилась дверь: не сказать, чтобы она так уж была распахнута, чтобы выйти, ее надо было открыть, но казалось очевидным, что ведет она наружу, куда именно, он не стал задумываться, подошел, открыл, но на выходе, прямо напротив за столиком сидел мощный бородатый старик; как только он впопыхах выскочил из зала, старик тут же поднял голову: явно озадачился, почему посетитель на такой скорости выбежал из последнего зала, ох, этого только не хватало, подумал он и резко замедлил шаг, но было поздно, старик поднялся со стула и взглянул ему прямо в лицо, он быстро перехватил взгляд и прислонился, насколько было возможно, к шероховатой стене, уходящей вверх дикими извивами, и, вытянув губы трубочкой, уставился перед собой, будто вышел на минуту из зала передохнуть или осмыслить увиденное, в ответ на это старик сел, точнее, медленно опустился обратно на стул, но взгляд с него не спустил — конечно, сомневается, я бы тоже на его месте засомневался, подумал он, не двигаясь с места, в спину давила какая-то ужасная штука, торчащая из стены, явно одно из этих мерзких украшений, и все-таки, сколько еще тут торчать, беспокойно стучало в мозгу, но тут старик мотнул головой в сторону анфилады и спросил: «Василка там?» — он, естественно, ни слова не разобрал, во-первых, потому что не понимал по-каталански, только выучил несколько простых выражений на испанском, а во-вторых, старик говорил не по-каталански и не по-испански, а, наверно, по-русски, скорее всего, на одном из славянских языков, а это еще дальше, чем предположительно русский, — как всегда, когда к нему обращались здесь, он осторожно кивнул, чтобы растолковать этот кивок можно было как угодно, главное, ни слова не произнес, продолжал стоять, прислонившись к стене, старик откинулся на стуле — вроде как успокоился; тут он решил наконец присмотреться и понял, что персонаж, явно посаженный сюда как охранник, не просто пожилой человек, но дряхлый старец: сидит, бороду густую, белоснежную перебирает на груди и глаз с него не спускает, а глаза у старика — голубые, что накидка у того ангела, который там, внутри, помолчал недолго, потом хмыкнул и снова заговорил на своем языке (с большой вероятностью — русском) так, будто посетитель должен был понимать, что он там говорит на своем наречии в этом чужеземном городе, повторяя, что сил больше нет никаких, вечно этот Василка убегает, сто раз ему объяснял, зачем они здесь, кого представляют, теперь они сами и есть Галерея, но такому — старик сердито кивнул — объясняй не объясняй, все бегает, ох уж этот Василка, — страж вздохнул и долго качал головой; герой снова попытался кивнуть в ответ и тем самым окончательно убедил старика в том, что понимает сказанное и даже выражает согласие, мол, Василке действительно надо бы сидеть на месте, явно где-то там, у входа, где ангелы, благодарно закивал он, старик же, уловив общность взглядов, продолжал рассказывать, насколько бесценны выставленные в Галерее сокровища, ведь экспонаты отбирали не только в Москве, тут есть и киевские, и новгородские, и псковские, и ярославские, и из тех, что поновее, нельзя их так просто, без присмотра оставлять, каталонцам все-таки доверять нельзя, а им обоим головы снимут, если хоть на одной картине пятнышко найдут, уж объяснял Василке этому без конца, но ему объясняй не объясняй, его уж и след простыл, как ящерица — раз и нету, знает щенок: если он — старик показал на себя — отойдет проверить, тут вообще никого не останется, что тут поделаешь, каждое утро говорю ему: смотри, Василка, заберет тебя лукавый, будешь столько пропадать, домой не пустят, их же из дому сюда прислали, и все говорил, говорил, что они вдвоем смотрители залов от Галереи, и напрасно он просил, чтоб не Василку ему дали в напарники для передвижной выставки, только не Василку, но главный начальник его не послушал — никто его теперь не слушает, старый слишком стал, на левое ухо — показал — совсем оглох, да и зрение не очень, но никому об этом не говорит, никому знать того не надо, иначе уволят из Галереи, а если уволят, он сразу умрет, уж поверьте, господин хороший — старик снова показал на себя обеими руками, — больше сорока лет смотрителем в Галерее, чего только не пережил в музее, люди уходили, приходили, снова уходили, кого-то снова назначили — сумасшедший дом, потому и сидел всегда смотрителем залов, смотрителям никто не завидует, а ведь я по рождению — старик доверительно подмигнул — настоящий Вздорнов, да-да — и с коротким смешком продолжил, — из тех знаменитых Вздорновых, довольно близкий родственник самого известного представителя семейства, батюшки Герольда Ивановича, он, кстати, и сейчас в Ферапонтово проживает, совсем от мира отошел, ему бы только каждый день на легендарные фрески Дионисия смотреть, говорят, он от них даже немного умом тронулся, ну да это не важно, возвращаясь к собственно его, старика, персоне, подумаешь — Герольд Иванович сюда, Герольд Иванович туда, — что бы там ни говорили, должность смотрителя ни за какие деньги не оставил бы, такая работа — в самый раз, потому как тут хотя бы никто тебя не трогает, — тут старик развел руки в стороны в ожидании реакции аудитории, и аудитория, в единственном числе, естественно снова многозначительно кивнула, решив, однако, что еще минуту поделает вид, будто внимательно слушает, но потом уж все, спустится вниз, на первый этаж, а потом — на улицу и прочь отсюда, не может же быть такого, чтобы там нельзя было выйти, а то ведь привиделось — что еще могло с ним там произойти в зале, как не галлюцинация, и тут с места боится сдвинуться, вдруг задержат за то, что без билета вошел, так он ничего плохого не делал, ничего не украл, пальцем ничего не тронул, билета только нет, это правда, действительно нету, но как-нибудь, с этим как-то обойдется, но и только он принял решение и сделал движение к выходу, старик снова заговорил, и он опять придвинулся к стене — разумнее пока подождать, только прислонился не к этой дурацкой выпуклости, а нащупал спиной участок поровнее и все-таки задержался, чтобы услышать продолжение, мол, «знаю, вы за тем же пришли — все за этим приходят, а потом выскакивают из этой двери, и я сразу вижу — разочарованы, конечно, я бы тоже чувствовал себя обманутым, Рублев — это да, другое дело, настоящее, но его никогда, поймите, никогда не вывезут из Третьяковки», так там и будет висеть, не останавливался старик, ее, «Троицу», еще в сталинские времена из Государственных реставрационных мастерских туда вернули, а радонежцы из Сергиева Посада, у которых икону забрали в мастерские, получили взамен копию, так что оригинал теперь можно увидеть, только если приехать в Москву, а тут, на выставке, не Сергиевский список, а третий вариант, самый удачный, в своем роде, из тех, что еще до Ивана Грозного сотнями делали, просто чудесная копия, — старик указал вглубь, никто не спорит, этот список, наверное, Иовлева нашла, или Екатерина Железнова, где-нибудь внизу, в хранилище, красивая икона, все на месте, но оригинал, конечно, рублевский-то, там совсем другое, и не объяснить толком, в чем разница, по сравнению с тем, что вы видели; но копии фигуры, контуры, композиция, размеры, положение в пространстве — все в точности как у Рублева, по сути дела, только одно отличие, там на столе стоит чаша, а здесь — не пойми что, краска облупилась, не в реставрационных мастерских делали, у меня там Ниночка работала, младшая дочка шуриновой жены, так вот — не там, а раньше, еще при царе, ведь эти иконы, знаете, — старик запустил пальцы в бороду, — не уверен, что знаете, по вам, — смотритель указал на слушающего, — сразу видно, только из двери вышли, видно, что вы русский и что не настоящий специалист, так, любитель, эти после выставки не особенно в разговоры пускаются, а специалисты рот не закрывают, их сразу можно вычислить — еще из зала не вышли, а уже щебечут, точно пташки, мол, то, да се, да Византия, да Феофан Грек, да Рублев, да Дионисий, в общем, лучше меня, старика, — он показал на себя, — послушайте, я за сорок лет все про эти иконы узнал, нет такого вопроса, чтобы я ответа не знал, все читал, все помню — сама Иовлева, или Екатерина Железнова, бывает, спросят имя какое, или год, если сразу на память не приходит, а я всегда отвечаю, что спрашивают, ничего не забыл, у меня в голове все в полной сохранности, я уже сросся с тамошними чудотворными иконами, если уж я чего говорю, мне можете верить, все эти иконы там, внутри, да и остальные, те, что дома, все до единой, часто переписывали, обновляли, а то и просто писали новые поверх старых, саму «Троицу», ту, что в Москве, рублевскую, по многу раз переписывали, поговаривают, — старик жестом подозвал своего слушателя поближе, но тот даже не шелохнулся, так и остался стоять у стены, — сколько ни восстанавливали ее первоначальный облик всеми этими новомодными средствами, все равно это не первоначальное состояние, потому что в изначальное состояние уже не приведешь, говорили еще, — смотритель понизил голос, — будто у Бога-Отца и Святого Духа, ну, сами знаете, у левого и правого ангелов, уста в рублевском оригинале были немножко ниже изогнуты, то есть они печальнее выглядели, изначально, но это я, конечно, только так, слышал, не помню где, может, и вполовину неправда, но какая разница, случайному русскому посетителю, любоваться только этим списком, красивый ведь, правда? — тут старик выдержал паузу, снова ожидая знака согласия со стороны слушающего, слегка наклонился в его сторону, опять надо было кивнуть, но на этот раз дело пошло как-то легче, теперь он уже убедился, что старик настроен не враждебно, скорее производит впечатление человека, пытающегося что-то объяснить, да и в голосе не было и намека на требование предъявить билет, о билете на выставку речь уже не идет, но о чем тогда, смотритель явно с кем-то его спутал, или даже не спутал, просто заскучал, сидит тут целыми днями, единственная надежда — перехватить кого-нибудь из посетителей выставки на выходе да и скоротать за разговором время, но о чем этот человек говорит, и вообще, о чем, черт возьми, можно говорить так долго, и с чего старик взял, что его это интересует, совсем не интересует, даже если бы понимал, о чем речь, и тогда бы слушать не стал, он ведь исключительно для вида стоит тут с ним, в этом безумном здании, из чувства самосохранения, еще и ангелы здесь, только этого не доставало, все, хватит, подумал он и решительней прежнего оттолкнулся от стены, но тут старик как раз поднял левую руку и попросил не спешить, ведь так хорошо беседовали, ему тут с утра до вечера сидеть, не то чтобы пожаловаться хотел, просто приятно с кем-то о деле поговорить, с человеком интересующимся, точно как дома, в Галерее, там тоже: если спрашивают, он всегда рассказывает все, что знает, вот и сейчас скажет: если сравнивать, то по его, старика, мнению, «Троица» — самая прекрасная картина на свете, никому еще не удавалось таким невероятным способом изобразить незримый рай, если хотите, показать его как реальность, никогда, — заявил смотритель и поднял указательный палец, в ответ на это посетитель, естественно, начал пятиться обратно к стене, — никогда и никому, именно поэтому и важна каждая копия, именно поэтому так важен список с иконы, виденный им в начале экспозиции, ведь копия, как вы, очевидно, знаете, — старик строго посмотрел на него, там, у нас, означает совсем не то, что здесь, на Западе; дома, если с иконы сделали список, и епископ его освятил, то есть признал истинным, то с этого момента список излучает ту же святость, что и оригинал; так же и с «Троицей», да и копии лучше той, что сюда привезли, вы нигде и никогда не найдете, совсем недавно обнаружилась, все пришли на чудо посмотреть, даже из высшего руководства приехали, сотрудники-реставраторы, все до одного, искусствоведы, когда Иовлева или Железнова, точно не вспомню, кто из них, нашла и распорядилась принести из хранилища, там тоже стояла толпа, но поменьше, и сейчас не могу забыть, и все восхищались этим списком, с первого взгляда казалось, будто это и есть оригинал, настолько идеально выражена была сама суть иконы, размеры совпали идеально, композиция, масштаб, контуры, только на столе другой предмет, но этого и по сей день разобрать не могут, только высказывают предположения: что было изначально в этом месте на копии, а главное, почему не чаша, как на столе у Рублева, стояли, очарованные, все до единого, и они, смотрители, тоже там были, хотели сразу выставить копию, но ничего не вышло, куда ж ее повесишь — не с оригиналом же рядом — совершенную копию?! — нет так нельзя, поэтому решили не выставлять совсем, а когда готовили эту передвижную выставку, безо всяких споров сразу включили копию с «Троицы» в перечень экспонатов, причем, главный довод сводился к тому, что о вывозе оригинала и речи быть не могло, так сам директор сказал, Валентин Родионов, она, рублевская «Троица», навеки останется на своем месте, потому как «Троица» Андрея Рублева превращает в храм то место, где она висит, так сказал директор Родионов, ведь где бы ни находилась «Троица», — это старик добавил от себя, — она сразу начинает излучать свою священную силу, вы же чувствуете, стоит на нее взглянуть, потому и дотронуться до нее никто не смеет, — смотритель снова показал на себя, мол по его разумению, как раз поэтому и не посмел никто сдвинуть ее с места с 1928 года, — кто же осмелится прикоснуться к ней, не помолившись и не поцеловав образ, и то уже беда, что перевезли в те годы из Троицкого собора, не для того писалась икона, чтобы в музее висеть да чтобы на нее смотрели, как на простую картину, но теперь это уже не важно, ясно одно: трогать ее больше нельзя, вот и висит у нас, в Третьяковке, пусть Третьяковка и не храм, а весь мир, — старик понизил голос и величественным жестом разрешил: можете идти, раз уж так решили, и сам закончил свой монолог: весь мир пусть теперь смотрит на копию и пытается понять, какая икона настоящая.

Трудно объяснить состояние, в каком он пулей выскочил из здания и понесся по Каррер-де-Прованс и дальше, ничего вокруг не видя и не слыша, он не понимал, куда бежит, куда направляется, его даже не занимало, отчего так стучит в голове и почему нет сил, просто нет сил думать ни о чем, кроме этого стука в мозгу, поначалу казалось, будто стучит оттого, что сильно отбил пятки и боль отдается в мозг, но и потом, когда перешел на медленный шаг, лучше не стало, стучало не переставая, он пришел в совершенное замешательство, внутри царил абсолютный хаос, голова кружилась, причем настолько сильно, что ему часто приходилось останавливаться, прохожие, наверняка, принимали его за пьяного или думали, что его сейчас стошнит, но он не был пьян и тошноты не испытывал, только голова кружилась и стучало в висках, да еще, в какой-то момент, начал видеть странные вещи: видел себя, как бежит по улицам и уворачивается от людей, видел лица, на секунду возникающие и тут же исчезающие, видел старика из музея, или это был не музей, откуда он убежал, и, в то же время, видел ту семейную пару средних лет, как они за его спиной разомкнули руки, обошли с двух сторон, а потом снова подхватили друг друга под руку, но видел и винтовую лестницу, как поднимается по ней, следуя ее изгибам, и то, как в центре большой иконы и чуть правее слегка выцвели краски, потом снова возникла лестница, но теперь она уже вела вниз, вспыхнула позолота на иконах, но больше всего смущало, что в вихре одновременно всплывающих картин снова и снова мелькали те три ангела со склоненными головами, точнее, то, как средний и тот, что справа, склоняют головы к ангелу, сидящему у левого края, и этот ангел наклоняется в их сторону, но все втроем смотрят за пределы иконы, на него, но длится это лишь мгновение, потом почти сразу исчезают, остаются только цвета: светящиеся голубой и красный хитонов и гиматиев, разумеется, не просто светящийся голубой и светящийся красный, если изначально это вообще были красный и голубой, в этом он не был уверен, как и в том, что вообще видел цвета, он ни в чем не был уверен — картины вспыхивали в сознании и исчезали, но так, что остальные картины возникали и таяли в тот же самый момент, все проносилось в мозгу с такой скоростью, что из-за этого шатало и стучало в висках, но хуже всего — он не мог остановиться, а это означало, что он не мог остановить происходящее, не мог сказать себе: все, хватит, достаточно, остановись, соберись, тогда бы он сумел остановиться и собраться, но это как раз и не получалось сделать, задержать скорость внутри, потому как снаружи было все то же самое, надо было бежать, бежать так, чтобы по возможности не слишком наскакивать на прохожих; народу здесь было еще много, он продержался еще какое-то время, пока не выбрался из центра и не двинулся на север, в сторону широкого и шумного проспекта под названием Диагональ, после Диагонали ситуация выправилась, тут он уже ориентировался, повернул на запад и пошел в направлении жилища, это направление и надо было выбрать с самого начала, пешеходов навстречу здесь уже попадалось поменьше, а ему как раз и хотелось, чтобы навстречу шло как можно меньше людей, чтобы небеса наконец сжалились над ним и освободили от встречных, теперь он уже мог слегка замедлить шаг, когда увидел, что никто его не преследует, конечно, и раньше было ясно: никто за ним не идет, но сейчас это почему-то было важно, стало важно, чтобы никто не шел, в любом случае, когда уже не было сомнений и он смог окончательно перейти на прогулочный шаг, просто идти по узким улочкам, нельзя сказать, чтобы сегодня, в субботу, тут совсем уж никого не было — попадались прохожие да отдельные наблюдатели в окнах, то тут, то там на пустырях, перемежающих плавное течение улочек, гоняли мяч дети, но он все равно уже не ощущал присутствия той страшной силы, что пригнала его сюда, теперь уже можно было задать себе вопрос: что это было, зачем он носится тут, точно разум потерял, и как он вообще впутался в историю с этим сумасшедшим зданием, и почему не вышел сразу, пока мог, зачем остался, что забыл на той выставке, в жизни на выставки не ходил, почему именно теперь, почему, почему, почему, вопросы требовали ответа, объяснил он себе и торопливо огляделся, не разговаривает ли, часом, вслух, вполголоса, сам с собой, нет, вряд ли, никто из прохожих, по крайней мере, не смотрит, значит, все начало потихоньку приходить в норму, включая мозг, хватит вопросов, и матом, матом, а именно: да пошло оно, пошло на... и еще раз пошло оно все на... ему удалось превозмочь еще один порыв, подсказывавший: раз уж остановился или сел на пустую скамейку, то это лишь для того, чтобы понять, какого черта, что произошло с ним за последний час и зачем он потащился в эту Каменоломню, или как она там называется, а если уж зашел, то на кой ляд остался, и для чего смотрел на икону, и почему увиденное подействовало на него с такой силой, в общем, опять одни «почему», «почему», «почему», увы, ругательства позволили выиграть всего одно мгновение, напрасно он остановился и разразился потоком брани, напрасно сел на эту пустую скамейку, напрасно превозмог тот порыв, в конечном счете победу одержала не простая и понятная часть его собственного «я», а та, что стремилась понять, почему он позволил втянуть себя в то, о чем не имел, да и не мог иметь ни малейшего представления, даже не знаю, что за картины висели на стенах, что было за здание, после реставрационной мастерской я разбираюсь в кельмах — какие для штукатурки, а какие для затирки, но теперь, не важно теперь, что было раньше, что в жизни его была не только реставрационная мастерская, и не важно, что не сразу превратился он в ничто, в того, кто ежеутренне спускается в метро, едет на работу и ежевечерне возвращается обратно, и началось все не сразу с вонючей, сырой и темной комнаты, в которой он прожил последний год в одиночку, этим скорее все заканчивалось, потому что это уже конец, думал он сейчас, сидя на пустой скамейке, и эта мысль неожиданно утихомирила бунтующий мозг, опа, вот и все, произнес он про себя, и эти четыре слова наконец остановили стук в висках, вот и все, старик, повторил он и обвел взглядом площадь, или даже не площадь, так, вынужденное продолжение улицы — снесли развалюху промеж остальных развалюх, вот и все пространство там, где он присел и где толпа детей гоняла мяч, он только сейчас их заметил, один мальчишка двигался довольно неплохо, ловко обводил, с первого взгляда видно: парень, хоть ростом и пониже остальных, зато самый толковый, использует обманные приемы не из желания порисоваться, он явно понимает, что делает, остальные просто бегали туда-сюда и кричали, наверняка что-нибудь вроде «сюда!» или «я здесь», но этот, мелкий, не кричал, видно было, что для него это все всерьез, приглядевшись, удивился, поразился даже, насколько и впрямь серьезным оставалось лицо мальчика, словно что-то зависело от него, игрок будто соображал, сможет ли принять посланный в его сторону мяч грудью или передать точный пас бегущему впереди, серьезен, решил он, слишком серьезен, теперь он следил уже только за этим чумазым пареньком: непрерывно, постоянно, непоколебимо серьезен, ни на минуту не включается в общее ликование, не радуется, как все остальные, возможности погонять мяч, потому, наверное, что для него это не радость, а нечто иное — и тут снова мозг пронзила боль, он резко отвел взгляд от детей, не хочу их видеть, встал и направился дальше по узкой улочке, потом повернул вместе с ней налево и неожиданно оказался прямо перед тремя ангелами на иконе, вся картина предстала перед глазами так четко, словно и была сейчас здесь, но это, конечно, неправда, ноги приросли к мостовой, а он смотрел на них, всматривался в чудесные лица, разглядывал ангела посередине и того, что сидел слева, какого ослепительно голубого цвета у них накидки, смотрел на них долго-долго, потом уставился на золото и снова на них и вдруг осознал: они ведь не на него смотрят, не на того, кто разглядывает их в данную минуту, понял — там, в музее или Галерее, или что там было, он допустил серьезную ошибку.

В конечном счете все споры сводились к определению Святой Троицы, от этого, собственно говоря, зависела судьба всего восточного христианства, более того, христианство как таковое вращалось исключительно вокруг этого самого основного вопроса, обычно дело обстоит иначе, обычно основной вопрос выкристаллизовывается лишь пост фактум, лишь пост фактум становится понятно, о чем спорили, в пользу чего приводили доводы, ссорились, разрывали отношения, убивали сотнями и тысячами, но спорили не о христианстве с его любовью к ближнему: здесь уже с четвертого века споры шли об основном вопросе, и окончательное разделение, в теологическом смысле, случилось именно из-за этого; официально — только с 1054 года, а на самом деле уже с момента возникновения Восточной Римской империи начали свое существование западный и восточный мир, Рим и Константинополь, и восточный мир — речь сейчас пойдет исключительно о нем, о византийском пространстве, — и после разделения не особенно-то успокоился, даже после того, как раз и навсегда было определено: что есть Бог, что есть Христос, что есть Святой Дух и как все функционирует в сферах, превосходящих человеческое понимание, вопрос пришлось решать еще шесть раз — и каждый раз окончательно, проблема заключалась в том, что людям — теологам, архиепископам, епископам, синодальным отцам, одним словом, местным и вселенским соборам и отцам церкви, таким как святой Афанасий Великий, Григорий Назианзин, Василий Великий и Григорий Нисский — приходилось принимать решения по вопросу, сложность которого явно превосходила не столько исключительные способности этих людей, но и вообще человеческие познания, ибо тут уже надо было объяснять, в каких отношениях находятся Господь Бог, Христос и Святой Дух, тончайшие различия между самыми невероятными версиями, настолько тонкие, еретически тонкие, что и не очень-то объяснимо, почему столько символической или реальной крови было пролито по поводу столь незначительного, так называемого теологического вопроса, то есть из-за вопроса о Пресвятой Троице: одни доказывали, что есть только Бог-Отец, были такие, кто признавал превосходство и исключительность Христа, и такие, кто признавал равенство Сына с Отцом, и, наконец, были сторонники полной равноценности — равночестности и сопрестольности Отца, Сына и Святого Духа, — последняя точка зрения в итоге одержала верх, а понятие о единстве и троичности природы Бога стало основой христианского догмата, появились и те, кто все это понял, а так называемый спор о филиокве, то есть о том, исходит ли Святой Дух не только от Отца, но и от Сына, внес окончательный раскол в христианской религии любви, и возник мир православной любви, и огромная, на тысячу лет пережившая грандиозный распад Запада, загадочная Византийская империя, где жизнь подчинялась одновременно жажде роскоши, чувственных удовольствий и религии и где после седьмого собора уже никакие потрясения, расшатывающие все устройство восточной церкви, не угрожали этому фундаментальному догмату; последнее, естественно, вовсе не означало, будто вопрос разрешился окончательно, вопрос не разрешился, любое определение в отношении Бога и воплощения Его в Христе, а также связи со Святым Духом, оставалось в недостижимой мгле, или, если смотреть с точки зрения более поздней материалистической ереси, в сфере логического провала, защищать который было довольно сложно, и помочь тут могут лишь уважение к авторитетам и вера сама по себе, ведь для самых почитаемых святых восточной ортодоксии — от Иоанна Златоуста до преподобного Сергия Радонежского — вопрос об устройстве Триединства никогда не стоял, такая проблема была и оставалась лишь для мирян, не способных, как святые, увидеть воплощение Создателя и постичь мистерию Троицы, не задавать вопросы, но испытать, пережить исключительную концентрацию сотворенного и несотворенного миров, чарующую, чудесную, неизмеримую наивысшую реальность божественной мастерской и творящей силы, облечь которую в слова невозможно, чтобы Церковь или священный собор определил через них, через их святую суть, в чем же заключается не подлежащий более сомнению тезис веры о визуальном выражении, об изображении мистерии Триединства, то есть что Христос, Сын, Вочеловеченный Бог может быть изображен — решение было принято после некоторых споров, правда, эти споры, растянувшиеся лет на сто, о том, что он может быть «писан и воображен», ведь, как формулируется соответствующее решение Стоглавого собора, если Авраам видел их под мамврийским дубом, раз уж так вышло, значит, их можно изобразить — то есть если Авраам узрел Его в трех ангелах, повторяли тысячи и десятки тысяч монахов в монастырях от Афона до Троице-Сергиевской лавры, то ничто не мешает иконописцу написать Святую Троицу, причем в строгом соответствии с предписанием Собора, а практически следуя описаниям источников, согласно которым Авраам увидел однажды в дубовой роще, элоней Море, или в дубраве Мамре, трех крылатых юношей, усадил их за стол, угостил, услышал, что было сказано о будущем Сарры, а в продолжение этого и без того любопытного диалога между Авраамом и знаменитым образом Бога в виде трех ангелов еще и о Содоме и Гоморре; финалом беседы стало обещание Бога помиловать Содом и Гоморру хотя бы ради десяти праведников, однако, судя по тому, что Бог в итоге уничтожил-таки оба города, следует, что Он так и не нашел даже десяти праведных и чистых жителей ни в Содоме, ни в Гоморре, ну да Бог с ними, перейдем к тому факту, что после памятного диалога каждый из его участников вернулся к своим делам: Бог, в каком-то обличии — по поводу обличия как раз и возникают возражения — направляется в Содом и Гоморру, а Авраам мог еще долго размышлять, кого или что он видел, и что ему рассказали под дубом, в общем, именно из знаменитой встречи прародителя Авраама, точнее, из описания этой встречи в главе 18 Первой книги Моисеевой исходит соборное обоснование того, что после сотен вариантов родилось и сохранилось по распоряжению настоятеля Никона Радонежского в память о преподобном Сергии по снизошедшей на Андрея Рублева высшей милости от кроткой кисти и смиренной души иконописца посредством непрестанной молитвы и внушением силы Всевышнего; весть об этом образе, точно волшебным вихрем облетела всю Русь, чтобы в конце концов поколение спустя воспламенить воображение Дионисия — тогда копию с образцовой рублевской иконы заказали для какого-то храма, и заказ выполнил Дионисий, но сегодня уже не доказать, мог ли он один сделать тот самый список, или был кто-то еще, последователь или мастер из артели Дионисия, доказать это невозможно, ведь это произведение, непонятным образом оказавшееся в Третьяковской галерее и более пяти веков спустя после своего создания прибывшее в Барселону в рамках передвижной выставки после Парижа, швейцарского Мартиньи и Канн, по сути своей, настолько совершенная копия оригинального совершенства, что автор уровнем ниже Дионисия не мог бы ее написать ни тогда, ни в другую эпоху — после Рублева художников такой величины, как Дионисий, попросту долго не появлялось на свет, так что он и только он, и притом с высшей помощью, при условии, а условие выполнения заказа могло быть только одно: чтобы поручить написание иконы Дионисию, последний должен был иметь возможность беспрепятственно созерцать оригинал Рублева, то есть Дионисию как можно больше времени надо было провести в Троицком соборе Троице-Сергиевской лавры, ведь ему требовалось продолжительное время, чтобы приобщиться к духу шедевра, духу Рублева, и приблизиться к тому, что открывает икона Святой Троицы, висящая на первом месте справа, рядом с Царскими вратами соборного иконостаса, поскольку требовалось не только с абсолютной точностью скопировать черты фигур и размеры предметов, изображенных на иконе, их форму, контуры, расположение, не просто изучить и понять цвета и пропорции, но и дать обет изобразить Святую Троицу — он обязан был осознавать опасность, угрожающую художнику — будь то даже знаменитый иконописец XV века Дионисий, — если в процессе созерцания иконы выяснится, что он не достоин выполнить священный список с сергиевской Троицы; Дионисий лучше других знал: если душа его не почувствует то же, что чувствовал Рублев в момент написания иконы, то сам он, наверняка, попадет в преисподнюю, а список не получится, превратится в обман, подделку, пустой и жалкий хлам — напрасно поставят его в местном ряду соборного иконостаса, напрасно освятят, помочь людям он уже не сможет, ведь такая икона ничего не дает, ни о чем не напоминает, лишь обольщает, обещая вести куда-то.

За липовой доской отправился самолично, вообще хотел сделать все сам, от начала до конца, но остальные артельщики, включая сына Феодосия, так ратовали за то, чтобы мастер не работал в одиночку, столько лет до сих пор делали и то, и это, и будут делать, что в конце концов он согласился — возраст уже не тот, да и раньше подобные дела точно так же заканчивались из соображений удобства, так что нужную липу, ту, что больше всего подходит к рублевскому оригиналу, дали ему выбрать самому, пускай, а вот выстругивать, подгонять, клеить доску для иконы, обрабатывать шпонки из бука — две планки, предназначенные для укрепления тыловой стороны, вырезать углубления для так называемых врезных встречных шпонок, на это расходовать священный дар нельзя, потому начал работу тот, кто стругал, долбил, подгонял, проклеивал и стягивал лентой, затем приступил тот, кто ставил шпонки, потом приготовили ковчежец иконы: сделали поле и уступ от полей к ковчежцу — лузгу, и тот, кто умел это лучше всех, следуя уже проложенной лузге, выбрал обозначенную таким образом, словно бы обрамленную поверхность для писания иконы, ведь у этого образа, как и у остальных, в первую голову нужно было подготовить как следует поля, лузгу и ковчег, а в этом, особом, случае, требовалось, чтобы все три элемента по всем параметрам совпадали с оригиналом, то есть ширина поля, угол скола лузги, глубина и степень выработки ковчежца — должны быть такими же, как описано для иконы из Троице-Сергиевской лавры, чтобы артельный мастер-грунтовщик мог взять дело в свои руки и вместе с помощниками замесить левкас и нанести его на паволоку, наклеенную на поверхность под письмо; левкас — жидкий клей с добавлением размолотого в порошок мела — нанесли на доску, в этом случае ровно в восемь слоев, и, когда последний слой левкаса окончательно просох и стал совершенно гладким и чистым, приступил знаменщик, мастер по созданию рисунка будущей иконы, один из самых важных людей в артели, особенно при таком известном иконописце; следуя рисунку, который Мастер выполнил с иконы Рублева, знаменщик безошибочно верно и с безукоризненной точностью процарапал по высушенной поверхности левкаса очертания фигур и предметов: трех бесконечно кротких ангелов с огромными крыльями, рассевшихся вкруг стола, за ними обозначил храм, дерево и скалу, перед ними — стол с чашей и блюдом телятины, а вся артель, затаив дыхание стояла у него за спиной и смотрела, как он орудует иглою — делает графью, чтобы инструмент не дрогнул; само собой разумеется, весь процесс, начиная с подготовки доски и заканчивая работой знаменщика, проходил таким образом, что не только артельщики и их помощники следили друг за другом, но и сам Мастер присутствовал на каждом этапе, стоял и смотрел за его выполнением, так было до самого конца, стоя за спинами работников, Мастер следил, в точности ли соответствует краска — лазурь, киноварь, охра, изумрудная зелень, белила и даже взбитый желток — тому, что навеки запечатлелось в памяти, когда он стоял перед рублевской иконой в Троицком соборе, погруженный в глубокое созерцание; Дионисий стоял сзади и молился, пока доличник, а за ним и личник делали свое дело, личник, в этом исключительном случае, писал не лица, а только руки и ноги, а доличник — хитоны и прочие одежды, что бы они ни изображали, Мастер направлял каждое их движение, словно водил рукой и личника, и доличника — поэтому можно смело утверждать, что Мастер выполнил все сам, от начала до конца, было очевидно, что артельщики подчинялись его воле, то есть в итоге, через молитву Мастера, — Высшей воле, до тех пор, пока работа не дошла до той стадии, когда Мастер уже не мог доверить ее другим, когда ему самому полагалось взяться за кисть, опустить ее в чашу с краской и начать писать лики, уста, носы и глаза, после чего завершить письмо должна была следующая группа, но не приступила — Мастер настоял, чтобы провести все описи и росписи личн*о* го, наложить движки и проложить золочение на ассист самому, тут он принялся молиться еще сильнее, повторял Иисусову молитву, видимо, думал, что традиции надо отдать должное и надлежит верить, будто Андрей повторял Иисусову молитву про себя постоянно, но особенно во время работы, вот и он должен это делать, пока работает, Дионисий не прекратил молиться даже тогда, когда, не спуская глаз с иконы, уступил место тем, кто наносил олифу — прозрачный защитный слой для предохранения поверхности иконы, которая с этой минуты появилась на свет, явилась, повторяли люди из артели Мастера, и глаза их светились от счастья, готов список с рублевской иконы, вот перед нами снова Троица, и пришли из соседних монастырей все, кто смог, и смотрели на икону, и не верили глазам своим, ибо видели тот же образ — не список, не икону, но саму Святую Троицу во всей ее сияющей красоте, только Мастер удалился из артельной мастерской, как только нанесли последний слой олифы: встал перед готовой иконой, долго смотрел на нее, потом вдруг резко развернулся и больше ни разу на нее не взглянул, а ведь должен был прийти, когда заказчик устанавливал ее в своем храме, должен был стоять рядом, когда епископ освящал образ, стоять и слушать, как после начальной молитвы освящения — шестьдесят шестого псалма — иерей читает нараспев: Господи Боже, во Святой Троице славимый и поклоняемый, услыши ныне молитву нашу и низпошли благословение Твое божественное, и освяти образ сей окроплением воды сея священные, во славу Твою и во спасение людей Твоих — он слушал это, смотрел, как иерей кропит икону, слышал и видел все и осенил себя крестом и произнес: Аминь, а потом сразу: Господи, помилуй и Господи, помилуй, и Господи, Господи, Господи, помилуй, но оставался в смятении и не отвечал, когда к нему подошли выразить признание и восхищение, промолчал весь день, молчал неделями, каждый день ходил исповедоваться, в конце концов совершенно удалился от мира, и с той поры, если кто-то из любопытства или по незнанию осмеливался упомянуть при нем, как чудесно выполнен список с рублевской Троицы, то рисковал либо напороться на непонимающий вопросительный взгляд Дионисия — он будто не понимал, о чем речь, либо — как перед смертью Мастера, когда его артель расписывала Благовещенский собор в Москве — знаменитый иконописец вдруг бледнел, лицо его искажала гримаса, и, вращая налитыми кровью глазами, он набрасывался на оторопевшего смельчака с громогласной, совершенно неразборчивой руганью, и только сыну Мастер прощал подобные вопросы, потому что прощал ему все и всегда, до последней минуты.

Воскресенье было подобно чудовищу, которое наваливается на человека и не отпускает, только грызет и гложет, кусает и рвет; воскресенье не желало ни начинаться, ни продолжаться, ни заканчиваться, у него всегда так было — ненавидел воскресенья куда сильнее остальных дней недели, в каждом дне было нечто, благодаря чему невыносимые тиски бытия хоть немного, да ослабевали, пусть на несколько минут, но воскресенье не отпускало, здесь было все точно так же, даром что перебрался в Испанию, даром что эта Барселона совсем не похожа на тот Будапешт, даром что все здесь другое — на самом деле, все здесь было такое же, и воскресенье с той же мучительной силой давило на душу: не хотелось ни начинать, ни продолжать, ни заканчивать, он сидел в ночлежке городской социальной службы под названием Центр комплексной помощи по адресу: авенида Меридиана 197, куда однажды случайно попал — в самом начале, почти потеряв надежду найти здесь работу, он шел по так называемой Диагонали, просто шел и шел, неизвестно сколько прошло времени, не меньше часа, хотел отвлечься от временного ощущения безнадежности и вдруг оказался на авениде Меридиана перед каким-то зданием, в которое входили похожие на него типы, он тоже вошел, никто ничего у него не спросил, он тоже ничего не сказал, ему указали на кровать среди множества других кроватей, и с той поры он стал ночевать здесь, вот и теперь сидел тут на краю койки, было воскресенье, а значит, предстояло провести весь день в ночлежке — куда пойдешь в воскресенье, тем более, после того что произошло с ним вчера на перекрестке Пасео де Грасья и Каррер-де-Прованс, можно было побыть в одиночестве, поваляться на кровати, в двенадцать получить тарелку еды и порадоваться, что уже полдень, только и этому он уже не мог радоваться — так растерялся главным образом из-за того, что не понимал причины, от этого растерялся еще больше, не находил себе места, прыгал, не мог остановиться, никого вокруг его состояние не интересовало, каждый занимался своим делом, большинство спали или делали вид, будто спят, он попробовал сосредоточиться на неимоверной вони, витающей в воздухе, чтобы не зацикливаться на том, как тянется время, высоко на противоположной стене висели часы, хотелось их чем-нибудь сбить и раздробить на мелкие кусочки, но часы висели слишком высоко, да и шум нечего устраивать, но смотреть на них было невыносимо, поэтому он пытался сосредоточиться на вони и не следить за временем, но ноги так и просились встать и пойти куда-нибудь, и от этого сразу вспоминал, что время не идет, все еще двадцать минут первого, господи, что делать, по округе не погуляешь, кто-то в самом начале на пальцах ему объяснил, что кругом тут Ла Мина, опасный район, сущий ад, где его убьют, так и показали, мол, туда ходить нельзя, Ла Мина, повторили несколько раз, си, ответил он и не ходил по окрестностям, пользовался только бесконечным проспектом Диагональ, который всегда приводил его в центр города, но сейчас он чувствовал себя слишком усталым, таким усталым, что даже думать не мог туда отправиться, хотя так день прошел бы быстрее, но от самой мысли о Диагонали становилось дурно, столько раз по ней ходил, такая она длинная, в общем, остался в постели, как и остальные, в помещении был телевизор, опять же где-то под потолком, но он не работал, оставалось ждать и смотреть по часам, как проходит время, он понаблюдал за стрелками, потом повернулся на левый бок, закрыл глаза и попробовал уснуть, но не получилось: как только закрыл глаза, появились три огромных ангела, их он видеть не хотел, никогда больше, но, к несчастью, они постоянно возвращались, хоть закрой глаза, хоть открой, он сел на кровати, койка — дрянь, между прочим, посередине провисает, снизу в спину или в бок упирается какая-то жесткая решетка, приходилось без конца вставать, даже ночью, чтобы как-то подправить, увы, все попытки были напрасны, он взбивал матрац, но это лишь на время облегчало положение, под весом тела вся конструкция очень быстро провисала снова и упиралась в жесткую железную сетку, или что там было внизу, вот и теперь: он встал и взглянул на постель — опять провал посередине, еще раз посмотрел и вышел в место, отведенное для курения, внутри курить запрещали, сам он не курил, но хоть побыть в другом месте, не там, где был до этого, однако проблему это не решило, из курилки тоже было видно часы, странным образом их вообще было видно отовсюду, не укроешься, их следовало видеть всем и всегда, тем, для кого эта ночлежка была временным пристанищем, видеть, что время идет, идет быстро или очень медленно, ясно было одно: тот, кто сюда попал, должен помнить, думать о времени, и особенно сегодня, в воскресенье, подумал он с горечью и направился обратно к кровати, снова улегся на провисший матрац и принялся наблюдать за соседом-стариком, который вытащил из-под койки нечто, завернутое в газету, и медленно развернул, а когда вытащил из обертки нож с длинным лезвием, оглянулся и заметил, что за ним наблюдают, смотрят с соседней кровати; старик поднял нож, и в том, как он его продемонстрировал, была некая гордость, кучильо, произнес он и головой показал на нож, увидев, что у соседа на лице не дрогнул ни один мускул, показал нож еще раз и пояснил: кучильо хамонеро — нож для ветчины, но мужчину ничего не интересовало, старик с оскорбленным видом убрал нож обратно, но сосед вдруг сел на кровати, повернулся к старику и жестами попросил, мол, повтори слово, да-да, те два слова, кучильо, кучильо хамонеро — заставил его произнести несколько раз, пока не запомнил, потом дал понять, что хочет еще раз взглянуть, старик обрадовался, вытащил пакет еще раз, развернул и начал приговаривать — явно хвастался ножом, мол, красивый, правда, по лицу можно было определить, тогда он взял нож в руки, покрутил, потом вернул и попытался объяснить, что хочет узнать, где старик его купил, но тот не понял вопрос и отрицательно замотал головой, быстро завернул нож и сунул под матрац, мол, нет, не продается, ничего не оставалось, опять попробовал жестами объяснить, что хочет узнать, где такой нож можно купить, старик уставился на него, пытаясь разобраться, какого черта соседу надо, даже говорить по-нашему не умеет, но неожиданно лицо его прояснилось и он спросил: ферретерия? — конечно, сосед понятия не имел, что это значит, но подтвердил: си, на что старик вытащил откуда-то клочок бумаги и карандашом что-то нацарапал, вот что там было написано:

УЛИЦА РАФАЭЛЯ КАСАНОВАСА 1,

разобрав неуклюжие каракули, он кивком поблагодарил старика и дал понять, что хотел бы оставить бумажку себе, старик тоже кивнул в знак согласия, протянул было руку, чтобы засунуть клочок соседу в карман рубашки, но это было уж слишком — чтобы кто-то до него дотрагивался, его трогать нельзя, всегда терпеть не мог, когда кто-то его трогал, всю жизнь ненавидел, и теперь никто не может до него дотрагиваться, тем более этот старик своей вонючей, грязной рукой, он резко отодвинулся и, чтобы старику и в голову больше не приходило приставать, повернулся к нему спиной и пролежал так какое-то время, пока не удостоверился, что старик понял: ни в какие разговоры он больше вступать не хочет, вопрос исчерпан, никакого панибратства, полежал неподвижно, снова закрыл глаза, опять появились ангелы, открыл глаза, встал, вышел в курилку, постоял там немного, перешел в туалет, там посидел подольше — единственное место, где чувствовал себя нормально, как и все остальные, здесь можно было закрыть дверь на задвижку и побыть в одиночестве, как сейчас, его никто не видел, и он никого не видел, посидел, надоело торчать тут над горами дерьма — в свободной кабинке, куда он сел, унитаз был забит дерьмом, слив не работал, попробовал спустить несколько раз, перед тем как сесть, — напрасно, так что ему тут довольно быстро прискучило, вернулся в спальню, лег, уставился в мертвый экран телевизора под потолком, перевел взгляд на стрелку часов, снова на телевизор, на часы, так прошел день, в итоге окончательно потерял власть над ногами, особенно над левой — так и тряслась в воздухе, пока лежал, или выстукивала чечетку, когда стоял или шел по полу или по мостовой, к вечеру устал как собака, мышцы не выдерживали, думал, наконец-то поспит как следует, никто мешать не будет, но и сегодня, как всегда, больше чем на полчаса, заснуть не получалось, вокруг храпели, кашляли, хрипели, от звуков он постоянно просыпался, да еще эти ангелы, а к полуночи зазвенел мерзкий комар — натянул на голову одеяло, стало жарко, полежал в полутьме, встал, пошатываясь добрел до туалета, вернулся, все повторилось по новой: получасовой сон, потом ангелы, чертовы комары, храп, наконец настал час, когда он с надеждой ощутил приближение рассвета, к первым лучам солнца он уже умылся, кое-как привел в порядок одежду и ботинки и выбрался из ночлежки, утреннего чая дожидаться не стал, слишком вымотался, дольше терпеть не было сил, пошел по улице, но не к Диагонали, а в противоположном направлении, просто так, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу, но поначалу никого не было видно, улицы здесь были совершенно пусты, но потом попался-таки прохожий — показал ему бумажку с адресом, потом еще одному, и еще, пока не добрался до улицы Рафаэля Касановаса, было еще слишком рано, все закрыто, присмотрелся, прикинул, в каком из домов может быть нужная ему лавка, наверняка в том, где написано Сервисно эстасьон, оно самое, принялся шагать туда-сюда перед входом до тех пор, пока не пришел человек — мрачный, с помятым лицом, поднял наружные жалюзи, открыл магазин, смерил раннего посетителя недоверчивым взглядом; немного выждав, он зашел в лавку, хозяин взглянул на него с таким видом, словно хотел сказать: убирайся-ка отсюда, но он не убрался, подошел к прилавку, вытащил пятьдесят евро, четыре евро потратил вчера на бутерброд и напиток, показал деньги, смял в руке и оперся этой же рукой на прилавок, навалился всем телом и, слегка подавшись вперед, к продавцу, тихо произнес: кучильо — понимаешь? — кучильо хамонеро, и добавил, чтобы никаких сомнений не оставалось, ножик нужен, старик, очень острый ножик.

1. Журнал «Мозго вилаг» («Мир в движении») — с 1971 по 1983 гг. выходил как полуразрешенный молодежный альманах, периодически распространялся как самиздат. С 1983 г. существует как полноценный печатный орган. (Здесь и далее — прим. перев.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Миклош Мёсеи (1921—2001) — венгерский прозаик, поэт, драматург, эссеист, один из ведущих авторов второй половины XX века, тоже, к сожалению, мало известный русскому читателю. [↑](#footnote-ref-2)
3. Георг Кантор (1845—1918) — выдающийся немецкий математик и философ, разработал основы теории множеств, оказавшей большое влияние на развитие математики. [↑](#footnote-ref-3)
4. Совершенно не согласна — «Меланхолия сопротивления» или «Война и война» так и просятся на русский, но для работы с текстами Краснахоркаи, как читатель уже догадался, необходимо войти в определенное состояние, к тому же, в отличие от многих других писателей, он никогда не «навязывается» переводчикам и не пытается привлечь иностранных издателей — и те и другие рано или поздно к нему приходят сами. [↑](#footnote-ref-4)
5. Светлана Гайер (1923—2010) — один из самых известных переводчиков русской литературы на немецкий язык, героиня документального фильма «Женщина с пятью слонами» (2009, режиссер Вадим Ендрейко). [↑](#footnote-ref-5)
6. Дом семьи Мила построен по проекту архитектора Гауди в 1906—1910 гг. [↑](#footnote-ref-6)